КОГДА сейчас взрослые люди рассказывают сказки маленьким детям, они чаще всего ломаются, играют в дурачков, ибо не верят в то, что говорят. А моя бабушка верила и в кошку бессмертного, и в бабу-ягу, и в лешего, и в говорящую мертвую лошадиную голову. Я понимал, что она верит, замирал от ужаса, и в ужасе этом была поэзия сопричастности инобытию, вечной тайне. Сейчас дети редко-редко услышат из уст взрослого настоящую сказку. В лучшем случае их поточтуют неким суррогатом из обрывков далеких, забытых снов и современных «мультишек». Настоящую сказку можно получить только в книге.

Спокойный веков сказочник рисуется в двух образах: славного белобородого дедушки с хитроватым прищуром в бирюзовых глазах и доброй, уютной бабушки с очками на носу и вязаньем в руках (бессмертная красавица Шахразада, чарующая бесчисленные поколения читателей дивной вязью своих небывальщин, все-таки не стала воплощением образа сказительницы).

Традиционное, освященное веками представление о тех, кто рассказывает сказки, переносится и на писателей-сказочников. Доброта и благость, необыкновенная любовь к детям, тихая мудрость и некоторая отрешенность от земных дел кажутся их неизменными чертами. Таким нарисовал Ганса Христиана Андерсена другой необыкновенно добрый человек — Константин Паустовский. Может быть, в отношении Андерсена это и справедливо, хотя после недавней поездки в Данию автор «Русалочки» и «Калош счастья» предстал передо мной, в восприятии своих соотечественников, в ином свете — менее благостным, развращенно-романтическим и анемичным, более живым, острым и заземленным.

И подавно не похож на доброго сказочника нервный, издерганный, саркастический, исполненный мистического ужаса перед непостижимостью мироздания и отвращения к обывательской пошлости Эрнст Теодор Амадей Гофман, умевший до экстаза восторгаться прекрасным, сочувствовать гонимым и непонятым и яростно ненавидеть самодовольных хозяев жизни, веривший в волшебство и магию и с редкой пронзительностью видевший всю подноготную земных дел. Он и сам мучительно ощущал свою раздвоенность, в нем жило две души, два разных человека, поэтому тема двойника проходит сквозь все творчество Гофмана. Большую часть взрослой жизни, за малыми просветами, когда существование его обретало цельность, Гофман жил в двух образах: исполнительного судейского чиновника, достигшего довольно высоких постов (он до скрежета зубного ненавидел суд и судопроизводство), и необузданного романтика, чьи поэтические видения воплощались в литературе и музыке, а сарказм — в графике. Он поклонялся Моцарту, к имени, данному ему при крещении, он прибавил нежное имя своего кумира и стал Эрнст Теодор Амадей. Вдохновляемый творцом «Волшебной флейты», он и сам писал светлую, гармоничную музыку, озаренную причудливо-нежной фантазией. Но в графике он сам Дьявол, его карикатуры на окружающих мешают без промаха разлить чернила, не щадя никого; от убийственной на-

смешки не защищали ни важный чин, ни большая звезда на груди. Порой ему приходилось горько расплачиваться за эти злые шаржи. В рисунках Гофмана не было ничего от той мечтательной души, что напела оперу о речной деве Ундины.

В своих романах, новеллах, сказках Гофман сочетал оба начала: волшебное соседствовало с шаржем, нежные видения исчезали в раскатах сатанинского хохота. Нет, Гофмана никак не назовешь добряком. Его перо с изящной легкостью набрасывало эльфические образы детей и тут же, почти слышимо закрипев, вычерчивало портрет филистера, судейского крючка, чиновника со сморщенной душой, блудливого придворного и самого властелина — надутого болвана. И вновь без малейших усилий он уносился в мир причудливой фантазии, таинственных и страшных видений.

ник, что игрушки живут по ночам весьма бурной жизнью, а под полом обитает семиголовый мышный король. Гофман так поверил маленькой Мари, что в конце сказки подарил ей волшебное царство, где «всюду увидишь сверкающие цукатные рожи, прозрачные марципановые замки — словом, всякие чудеса и диковинки». Но он далеко не всегда так щедр к своим героям. И нередко, проведя их сквозь чудесные приключения, награждает всего навсего житейским благополучием, вполне устраивающим даже тех, кто позволил на миг увлечь себя волшебному порыву. Гофман не заблуждался насчет душевных богатств своих здоровомыслящих соотечественников. Отсюда ироничность многих его концовок.

«Щелкунчик», несомненно, самая добрая сказка Гофмана. Но почему писатель, особенно же писатель с судьбой

духа. И в этом ему было отведено Парализованный, прикованный к кровати, он скончался сорока семи лет от роду.

Мало соответствуют благодному образу добрых сказочников знаменитые братья Grimm. Наверное, я буду не оригинален, если признаюсь, что в детстве предпочитал толстый растрепанный том гриммовских сказок пленительным гремам великого Андерсена. Очевидно, чудесное нужно нам в детстве в чистом виде, без поэтических прикрас. Конечно, нельзя сказать, что записанные братьями Grimm народные немецкие сказки вовсе лишены поэзии. Но это как ушедший под землю ручей — он есть, он обнаруживает себя россыпью незабудок, осоковой растительностью, дыханием почвы, прилипающей под ногами, и вместе с тем он остается не-

с веселыми бременскими музыкантами.

Они родились в захолустном местечке Ханау в семье чиновника, обучались юриспруденции в Марбурге. Но души юных правоведов давно пленены народной немецкой поэзией, и они принялись собирать средневековые тексты: песни, легенды о короле хитрецов Рейнеке Лисе, бедном Генрихе и т. п. То не было простым коллекционированием — Гриммы исследовали творчество миннезингеров (рыцарей-певцов), майстерзингеров (ремесленников-певцов), народную и куртуазную поэзию.

Будучи профессорами Геттингенского университета, они собрали и выпустили знаменитые «Детские и семейные сказки», ставшие всемирным чтением и прославившие их куда больше, нежели все многомудрые труды. А ведь Гриммы — основоположники «мифологической школы» в филологии. Крупнейшие европейские исследователи, в том числе наш Буслев и знаменитый сказочник Афанасьев, примыкали к этой школе. Но бессмертные братьям

Юрий НАГИБИН ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА И СКАЗОЧНИКИ

Он работал по ночам и нередко, напуганный собственными вымыслами, будил жену и просил посидеть рядом, пока он пишет.

Как естественно и просто под пером Гофмана волшебство вживалось в быт. Почтенная канонисса фон Розеншён, блюстительница приюта для благородных девиц, оказывается феей цветов Розабельверде из Джиннистана в сказке «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер». А как идиллически начинается прелестная сказка «Щелкунчик и мышный король»: рождение в нарядном, богатом доме, елка, подарки, возбужденные счастливые дети, доверливые своей щедростью родители, чудесные елочные игрушки, сладкие марципаны.

И до чего же просто рождественский праздник в почтенном немецком семействе оборачивается невероятной чертовщиной. Гофман верил, что все люди, вещи и явления имеют два лица: одно — дневное, обращенное к повседневности, другое — ночное, страшное, скрывающее мрачную тайну; сдери покров с обывательского благообразия — и обнаружатся сатанинские страсти, фантазмагория, бред. Гофман болел этого таинственного мира и вместе с тем презирал людей, не способных услышать потусторонние голоса, поверить в чудо, волшебство. В семье советника медицины Штальбаума он выделит маленькую Мари, потому что в ней нет ни туповатого практицизма ее брата Фрица, ни здравомыслия глубоко буржуазных родителей; поэзия коснулась маленького существа своим крылом, и потому из всей семьи лишь она допущена в страшную и пленительную сказку, которая разыгрывается под мирными сводами бюргерского дома. Ей дано увидеть скрытую суть окружающих, узнать, что старший советник суда, часовщик-любитель, изобретатель игрушек, крестный Дроссельмайер — могущественный волшебник и маг, а деревянный щелкунчик — его заколдованный племян-

Гофмана, должен быть добрым? Гофман жил в бурное и трудное время, хотя иные бури века умудрились пропустить мимо себя. Так, юношей он «не заметил» Французской революции, да и о Наполеоне узнал толком лишь потому, что нашествие французских войск сорвало его контракт с Лейпцигским оперным театром. Он жил «внутри себя», а не во внешнем мире. Куда сильнее общественных бурь, терзавших Европу, были для него личные потрясения: в раннем детстве — смерть отца, оставившего его на руках у беспомощной, болезненной и равнодушной матери, затем смерть матери и докучное опекуновство дяди, невыносимого педанта, с приходом юности — мучительная, безнадежная любовь к замужней женщине... Когда жизнь наконец наладилась — он женился по любви, получил хорошее место в Познани, — шарж на всеильного генерала разом сломал это хрупкое благополучие, карикатуриста сослал в богом забытый Плецц.

И не раз в дальнейшем язвительный карандаш и острое, насмешливое перо будут причинять Гофману немало бед. Самые же губительные поступки он совершил на исходе жизни, смело восстав против насилий, чинимых властями над совестью судей, а в сказке «Повелитель блох» высмеял председателя комиссии по расследованию политических преступлений. В этом крайнем индивидуалисте, аполитичном, чуждом общественным страстям своего времени, обнаружилось неожиданное социальное чувство. Ему грозила страшная расправа, но неизлечимая болезнь опередила чело-веческую кару. По злой иронии судьбы к этому времени Гофман, изнедавший жестокою нуждой, холод всеобщего непризнания, потерю единственной дочери, стал знаменит и почти богат. Но он уже ничего не хотел, кроме клочка зеленого поля, кусочка синего неба и глотка свежего воз-

видим. А ручей Ганса Христиана бурлит, шумит, играет, преломляет свет над собой и отвлекает тебя от леса, тающего столько опасных чудес. Андерсен творил, используя фольклорные мотивы, братья Grimm лишь собирали и записывали народные сказки.

Это не механическая работа: приходилось сличать разные записи, извлекать первоначальное звучание из-под напластований позднейших времен, чтобы народная фантазия явилась в чистом виде, не искаженном стилизацией; то был труд ученых, исследователей, конечно, с божьей искрой в душе, иначе бы все засохло, но все же не литературное творчество.

Да они и были крупными учеными филологами, профессорами и академиками Прусской академии. Знаменитые люди, которым даровано прижизненное долголетие, переходят в память потомков лишь в старческом образе. На сохранившихся изображениях братья Grimm важны и суровы, Якоб — до угрюмости, и трудно поверить, будто ими записаны такие прелестные шутки, как «Бременские музыканты» или «Семеро храбрецов», — сколько тут очаровательной глупости и никаких наизада-ний! А что если Гриммы, братья-погодки, трогательно любившие друг друга и прожившие совпадающую во всем жизнь, кроме одного: Вильгельм ушел на четыре года раньше брата, вовсе не были скучными и надутыми учеными мужиками, а разбитыми ребятами, знавшими толк в крепкой шутке, остром словце и веселом розыгрыше?

Это — предположение, но несомненно, что в тяжеловатых немецких ученых, облаченных в темные сюртуки, было немало от мечтательного юноши, верившего в Ундины и грезившего о неземной любви с прохладной девой вод, а еще больше от того задорного мальчишки, который отдал бы все на свете, чтобы пошататься по дорогам

Гримм подарили все-таки не их коллеги, соратники, ученики и последователи, а шумные, крикливые, невоспитанные мальчишки и девчонки, самые искренние и лучшие читатели на свете, которые и читато толком не умеют, зато умеют так замирать и обмирать, так смеяться и плакать над книгой, так радоваться, страдать, сопереживать героям, как не умеют никакие другие читатели. Дети щедро отблагодарили братьев-сказочников, построив им нерукотворный и вечный памятник в своих душах.

Сказки братьев Grimm, славающие находчивость и смелость, высмеивающие глупость, лень, трусость и жадность, замечательны по языку (конечно, в русском переводе это так не ощущается). Братьям Grimm удалось вернуть старым сказкам, заблужденным многими поколениями и сельских, и городских людей, чудесный, гибкий и чистый народный язык.

Я повел свой разговор о сказочниках не по порядку. Справедливости ради следовало начать с Шарля Перро, ибо он возродил жанр волшебной сказки в Европе. Свои знаменитые сказки он опубликовал раньше Гриммов, Гофмана и Андерсена — в конце XVII века. Но дело не только в хронологии — Перро открыл сказке двери в большую литературу, ввел Золушку во дворец. И задолго до Перро выходили книги сказок, но никто серьезно к этому жанру не относился. Детское развлечение — ни один взрослый, уважающий себя человек не унижался бы до чтения сказок. Но вот пришел чародей, взмахнул волшебной палочкой, и образованные, знатные, изысканные, пресыщенные люди с жадностью набросились на «детское» чтение. Подобно прищипу, оживившему поцелуем спящую красавицу, а с ней и все погруженное в сон царство, вдохнул Перро жизнь и свежесть в спящее царство сказки.